

Андрей Дашков Собиратель костей Последняя книга на Земле

*Бесплодна и горька наука дальних странствий.
Сегодня, как вчера, до гробовой доски —
Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.
Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя —
Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит,
Чтоб только обмануть лихого старца — Время,
Есть племя бегунов. Оно как Вечный Жид.
И, как апостолы, по всем морям и сушам
Проносится. Убить зовущееся днем —
Ни парус им не скор, ни пар. Иные души
И в четырех стенах справляются с врагом.¹*

Шарль Бодлер. «Плаванье»

*...Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтоб я не превозносился.*

2-е Коринфянам, 12:7

Последний человек живет дольше всех.

Фридрих Ницше

¹ Перевод М. Цветаевой.

«Положи в вино розовую жемчужину. Когда пройдет трое суток, вылей вино в реку, текущую на восток. Зачатие должно произойти в ночь новолуния. И пусть человек, которого ты не знаешь, той же ночью даст проглотить жемчужину черному коту, а на следующее утро отправится в путь и отвезет кота за море, где продаст первой попавшейся на глаза женщине. Тогда твой сын будет здоров, богат, окружен любовью, умен и счастлив».

Вот что представлял собой рецепт моего благополучия, выданный моей юной и наивной матери каким-то бродячим шарлатаном задолго до того, как я появился на свет. Она не поленилась и приготовила розовую жемчужину. Правда, мой венценосный папаша был нетерпелив, и жемчужина пролежала в вине не трое суток, а только несколько часов. Луна находилась в последней четверти; река текла на юг; у кота было белое пятно на груди; ленивый слуга отвез его далеко, но, конечно, не за море. Кому он его всучил — неизвестно, а жемчужину скорее всего пропил.

В результате я здесь, в Боунсвилле.

Это неплохое место, если у вас не осталось

претензий к Мойрам² и вы не знаете, что делать со своей жизнью. Я до сих пор не разбогател. Любовью отнюдь не окружен, хотя изредка срываю плоды с червоточинкой в местном саду удовольствий. Сад называется «Заведение Катрин». Что такое счастье, я не знаю. Хотелось бы попробовать его на вкус. Говоря по правде, я на самом дне. Человек высокого рода, но пал так низко, что дальше некуда. У меня нет сколь-нибудь заметной суммы денег, жены, детей, особого ума и приличного занятия. С другой стороны, я свободен, не жалуясь на здоровье и не обременен долгами.

Недавно Господин Исповедник, закрепленный за нашим, не самым благополучным, кварталом, имел со мной долгую серьезную беседу. Почти душеспасительную. Сейчас вы поймете, почему я говорю «почти». Суть беседы сводилась к тому, что, по мнению Господина Исповедника, я достиг такого возраста, когда надо подумать и о... теле.

Вероятно, он намекал на то, что пора, дескать, начинать собирать кости, однако я еще не чувствовал себя готовым к этому. Но, в общем, я не возражал против основного тезиса. И без того большую часть суток я грезил о роскошном теле Долговязой Мадлен. Табор, с которым она пришла

² Мойры — в греческой мифологии богини судьбы.

в город, свернул шатры и растворился в утреннем тумане пару месяцев назад. Табор ушел, а Мадлен осталась. Как заноза в сердце. Во многих сердцах, не только в моем...

Впрочем, эта история не обо мне. Я — только очевидец и ничтожный свидетель. Я многого не понимал раньше и кое-чего, наверное, не пойму до конца своих дней. Тут я самоустраняюсь, ухожу в тень, чтобы по мере возможности говорить из тени. Как всегда, попытаюсь быть полезным, но не назойливым.

* * *

Все началось с появления в городе этого мрачного человека в просторном плаще багрового цвета, подбитом коричневым мехом, и всем нашим сразу стало ясно, чем хорош такой плащ — на нем почти незаметны пятна крови. Кроме плаща, на незнакомце были кожаные брюки, сапоги с низкими голенищами, квадратными носами и потертыми бронзовыми шпорами, длиннополый сюртук, под которым удобно прятать то, что не предназначено для посторонних глаз, лоснящийся бархатный жилет, расшитый нелепыми фиолетовыми и лиловыми цветами и оттого похожий на ночной луг в лунном свете, а также черная шляпа с круглой тульей и широкими рваными полями,

приобретшими вид вороньих крыльев, побитых дробью. Сходство особенно усиливалось, когда человек начинал двигаться — при каждом его шаге или скачке его лошади поля шляпы совершали взмахи, обдавая потоками воздуха жесткое, скрытое в тени лицо.

В этой тени удивительно ярко сияли глаза — сильно вытянутые к вискам, густо обсаженные ресницами, зеленоватые, полупрозрачные, отрешенные и фантастические. То изумруды, то чешуйки дракона, то бессмысленные линзы, наполненные стоячей болотной водой. Они неуловимо менялись. Трудно было понять, что выражал их взгляд. Женщин определенного сорта он почти сразу же валил на спину; некоторых мужчин приводил в тихое бешенство. Многие в присутствии незнакомца испытывали неудобство и суеверный страх — это при том, что Боунсвилль находился поблизости от Погоста Святош с его знаменитой на весь обитаемый мир Братской Могилой! И парни у нас в большинстве своем были не пальцем деланные...

Но вначале никто не видел этих странных глаз. Незнакомец въехал в город под вечер на белой кобыле и сразу же направился к заведению Хомы. Должно быть, он заранее знал, что ему нужно. Он двигался с севера, из голых земель, а его лошадь одним своим видом привела в восторг владельца

живодерни. Чужак обратил на себя особое внимание уже тогда, когда пробирался по улицам. В сумерках казалось, что ворон сидит на плечах обезглавленного тела и тщетно пытается взлететь. У ворона были стеклянные глаза на груди, а вместо клюва торчал медвежий коготь.

В раке, висевшей за плечами незнакомца на манер рюкзака и державшейся на широких кожаных лямках, тяжело и красноречиво громыхали кости. Те из местных, кто был достаточно опытен, чтобы по звуку определить их количество, останавливались и с благоговением глядели ему вслед. По мере того как чужеземец удалялся, благоговение сменялось необъяснимой тревогой и отвращением.

Судя по всему, человек в красном плаще был близок к тому, чтобы собрать ДЕКАН. Возможно, уже тогда в его раке лежала ВОНДАРА или даже ДЕВЕРА. Все знали, что это означает. Незнакомец знал это лучше всех и потому был абсолютно уверен в себе.

Позже мы получили возможность разглядеть и его лицо, и глаза, и раку. Познакомиться, так сказать, поближе. Для некоторых это стало последним знакомством в их жизни.

Иногда я думаю: как сложилась бы моя дальнейшая судьба, если бы человек в красном проехал мимо или не появился вовсе? Хотел ли я

покоя на самом деле? Порой мне кажется, что я мог бы обрести свое маленькое счастье вместо большой беды. Временами я готов был проклясть чужака. Но тогда, в первый день, я тоже почти мгновенно попал под его неотразимое влияние.

Он обладал шармом искусителя, романтическим очарованием какой-то запредельной порочности, владел секретами бесстрашия и манипулирования себе подобными. За ним тянулся невидимый, но осязаемый шестым чувством шлейф смертного греха, и то, что он явно не собирался останавливаться на достигнутом, внушало невольное уважение даже самым крутым из нас. А я совсем не был крутым. Я всего лишь подавал дрянное пиво клиентам Хомы.

Он вошел в кабак, поднял на лоб противопыльные очки, покрытые муаровыми разводами, и с порога оглядел помещение и всех находившихся в нем людей своими не вполне человеческими глазами. На его губах появилась тонкая ироническая улыбка, словно он думал про себя: «Господи, куда только заносит нелегкая, и с какими подонками приходится иметь дело!»

Мы простили ему эту улыбку, как прощали с тех пор многое. Слишком многое.

Я жадно разглядывал его, что было верным признаком не до конца растраченных иллюзий. Любой новый человек был интересен мне, а этот

разительно отличался от всех остальных. Меня удивила его молодость. По возрасту мы могли бы быть братьями, но на его лице я прочел чудовищное, леденящее безразличие к жизни, присущее древним старцам. И не была ли его «молодость» только видимостью — вот в чем вопрос. Складывалось впечатление, что он пережил и зрелость, и старость, и саму смерть, как другие переживают пору юношеских ошибок и заблуждений...

Он раздвинул полы плаща цвета заката и засунул руки в карманы брюк. Это было общепринятым знаком того, что он не собирается ни с кем ссориться. Так, с руками в карманах и с ухмылкой на слишком юном лице, он прошел к стойке. Шляпа-ворон отмерила двенадцать взмахов. С ее «крыльев» осыпалась бриллиантовая пыль. Кости в раке издавали глухой перестук. Я заметил, как при этом звуке вытянулось лицо Ржавого Короля — самого удачливого из наших специалистов по костям. Он со своей жалкой ШОНДОЙ отныне был только шутом при истинном короле.

Возле стойки человек в красном освободил свои плечи от нелегкой ноши, которую обычно не доверяют никому. Сняв раку, он поставил ее на табурет рядом с собой. Все видели ее. Она была настоящим произведением искусства. Самая

дорогая модель фирмы «Козин и Бауэр» из высоколегированной жаропрочной и кислотоустойчивой стали, отделанная платиной и серебром. Вместимость — один ДЕКАН костей (а больше еще никому и не требовалось). Строгие буквы без всяких выкрутасов и дешевых виньеток были углублены в металл лицевой панели на добрых пять миллиметров. На крышке выгравирована сценка из «Руководства по извлечению святых мощей». Высокий класс! У незнакомца, возможно, не было совести, но у него был стиль. А это часто позволяет запудрить мозги парням вроде нас, не говоря уже о женщинах.

Только в одном месте великолепная рака была слегка повреждена. Возле кодового замка с миллионом комбинаций осталось уродливое радужное пятно, окружавшее лохмотья окалины, — след прикосновения САЛАМАНДРЫ. Но кто бы ни пытался взломать раку, ему это не удалось. И я не сомневался в том, какая судьба постигла его после дерзкой неудачной попытки...

Старый Хома чуть не выпрыгнул из передника, стараясь угодить новому клиенту, но тот не спешил делать заказ. Он стоял спиной к стойке и нагло пялился на нас. Потом он впервые открыл рот. Вероятно, тогда я убедился в том, что его молодость поддельна и продлена искусственно (так снова и снова обновляют лицо старого манекена в

витрине универсального магазина; но сколько костюмов сменяется на нем за то время, пока он торчит у всех на виду?). Незнакомец хрипло прокаркал:

— Кто скажет мне, где похоронен Шепот?

Пожалуй, с его стороны было не слишком благоразумно интересоваться подобными вещами в обществе отчаянных охотников за костями и прочего отребья. Завсегдатаи кабака переглянулись и, по-видимому, пришли к одному и тому же выводу: чужак — либо полный кретин, либо чувствует за собой силу и право задавать вопросы. К тому моменту уже было невозможно отказать ему в силе и праве. Единственное, чего недоставало незнакомцу, это логики. Неужели он думал, что здешние собиратели не вырыли бы кости Шепота, если бы знали, где тот испустил свой последний вздох?

Все молчали. Никто не двигался с места. Даже игроки в домино замерли с костяшками в ладонях. Напряжение нарастало. Воздух сделался густым, как осенняя грязь. Я затаил дыхание. Вот-вот должно было произойти что-то ужасное.

Человек в красном повторил вопрос:

— Так кто покажет мне могилу этого хмыря? Может быть, ты? — Он обратился к Малютке Лоху. И для верности ткнул в него пальцем.

Малютка выделялся из толпы. Он поневоле

обращал на себя внимание. В нем было два метра роста и сто кило мышц. Он любил и умел драться, а кроме того, обладал невероятным сексуальным аппетитом и достоинством соответствующих размеров. И все-таки он был Лохом. Дураком и психом. И даже публичные девки смеялись над ним у него за спиной. Все наши знали, что он плохо кончит. Но никто не предполагал, что это случится так скоро.

— Откуда ты взялся, кусок ослиного дерьма? — спросил Малютка Лох и достал свой огромный, блестящий, но все равно смешной пистолетик (ну, вы знаете, из тех, старинных, автоматических, стреляющих такими большими тупорылыми пулями, которые разрывают на части брентную плоть — если, конечно, вообще сумеешь выстрелить и тем более попасть!) и направил его на чужака.

Калибр у пистолетика действительно был приличный, и в лапе Малютки эта погремушка смотрелась здорово — свет от масляных ламп играл на полированной стали, по стволу пробегали тени, а из канала веяло холодом смерти, который, казалось, в следующий момент будет уничтожен горящим порохом.

Однако этого не случилось.

Незнакомец даже не шевельнулся. Подозреваю, что он использовал лишь ничтожную

часть своей силы. Он выпустил ХИМЕРУ, и зрачки Лоха взорвались, превратившись в две черные кляксы на мертвенно-бледном лице. Громила ослеп на несколько минут, но, кажется, «увидел» кое-что пострашнее кошмара.

Малютка заорал «Мама!!!» и выбежал из кабака — после того, как дважды врезался в стену. Он расквасил себе нос и вывихнул руку, однако не бросил пушку. В конце концов он наткнулся на дверь и вышиб ее своим телом. Позже мы слышали двенадцать выстрелов. А наутро узнали о том, что прозревший, но не до конца освободившийся от морока Малютка застрелил одиннадцать человек у речной переправы. Последним выстрелом он разнес свою дурацкую башку.

— Говори ты! — сказал человек в красном, обернувшись и ткнув пальцем в Хому.

— Никто не знает, — пролепетал тот, еле шевеля непослушными губами. — Шепот умер так давно...

— Я знаю, когда он умер, — бросил чужак. — Я спрашиваю, *где* и *как* он умер?

— Его убили, — быстро ответил Хома. — Скорее всего. Неизвестно кто. Неизвестно где. Дурной был чело...

Он осекся и остолбенел. Я даже подумал, что сейчас его хватит удар или толстяк-кабатчик

свалится в обморок. Но все обошлось. Незнакомец отклеил от Хомы свой пристальный взгляд, и тому сразу же полегчало.

— Я собираюсь взять себе его кости, — объявил чужеземец таким тоном, словно сообщал партнерам ставку в карточной игре. — Тому, кто будет мне мешать, мало не покажется. А теперь можете продолжать, любезные! — разрешил он и ослабился.

Кое-кто отнесся к его словам легкомысленно и возроптал. Он продолжал разглядывать облегченно зашевелившуюся толпу. Может быть, я один догадывался, что он выбирает себе женщину (разве это не свидетельствовало в пользу возникшего между нами понимания?). Я ощутил его голод, как будто сам прошагал тысячу миль, не встретив ни единой бабы.

И он выбрал. Его хриплое карканье снова разорвало кабацкий гул.

— Эй, ты! Иди сюда!

Я проследил за его взглядом и чуть не обмер. Он смотрел на красотку Мадлен. И снова обрушилась гнетущая тишина, в которой я слышал только шум моей жиденькой крови, текущей по жилам...

Долговязая яростно сверкнула своими черными жгучими глазами... и встала из-за стола, за которым ее угощали более удачливые и богатые,

но не менее несчастные, чем я, рабы бесчувственной красоты.

Пока она приближалась к человеку в красном на непослушных ногах, он медленно расстегивал свой плащ, сюртук и жилет, под которым была не очень чистая, но прочная джинсовая рубашка. На его ногтях блестел черный лак по тогдашней моде. В каждом его плавном движении было что-то плотоядное. Этот человек охотился за костями себе подобных даже тогда, когда делал что-то, на первый взгляд, невинное. Затем он расстегнул и рубашку.

Мы увидели его волосатую грудь и впалый мускулистый живот, пересеченный слева от пупка вертикальным шрамом. Потом его заслонили плечи и чудесные густые волосы красотки двухметрового роста.

— Поцелуй мое сердце, шлюха! — приказал чужак Долговязой.

И гордая Мадлен — надменная, несносная, негибаемая Мадлен, которая всегда сама выбирала себе мужчин, безжалостно играла с ними и никому не принадлежала душой, Мадлен, чей острый язычок был способен уязвить самых отпетых бандитов в округе, Мадлен, за которой самолюбивые цыганские принцы недавно бегали, как щенки, — покорно опустилась на колени и стала облизывать этим своим язычком, доводившим

ее любовников до неистовства, его левую грудь.

Пока она делала это, человек в красном даже не смотрел на нее. Он смотрел на нас с презрительной улыбкой, которая возникала так часто. Он бросал нам изощренный вызов и ожидал ответного хода. Желательно не такого тупого, какой сделал Малютка Лох.

В ту минуту я возненавидел наших трусливых болванов, а заодно и себя, и почти полюбил незнакомца. Он продемонстрировал мне силу, но источник ее каждый должен был найти и открыть самостоятельно. Если я сделаю выбор, мне предстоит трудный и смертельно опасный путь. Однако это будет путь, а не барахтанье в грязи, от которой нельзя отмыть даже лицо и руки — не то что душу...

Все смотрели будто замороженные, как мелькает влажное розовое жало между коралловыми губами, как оно сладострастно трепещет, играя с соском мужчины. Мой изголодавшийся парень зашевелился в штанах, и я едва не выронил кружку с пивом. Чужак оставался абсолютно холоден и спокоен. И все увидели невероятное: в какой-то момент язык Мадлен раздвинул кожу у него на груди и проник внутрь. Она застонала; дрожь прошла по ее телу; ногти впились в его живот. Не знаю, к чему она прикоснулась, но когда язык выскользнул, с него

капала кровь...

Незнакомец взял женщину рукой за подбородок, поднял с колен и прошептал что-то на ухо. Не иначе, назначил место встречи, где собирался получить свое. При этом у Мадлен было такое лицо, словно ее, сироту, наконец приласкала отыскивавшаяся мать. И накормила грудью — дала напиться багрового вязкого молока...

Выслушав его темный шепот, она тут же ушла. За плечами у нее сидел огромный инкуб, и ее грациозная походка изменилась под влиянием похоти. Мадлен двигалась так, словно по ее ляжкам непрерывно текло...

Кроме Долговязой, чудовище в человеческом облике подчинило и меня — на гораздо более долгий срок.

Незнакомец выбрал себе столик, за которым пожелал сидеть один. После Малютки Лоха никто не оспаривал его прав. Я принес ему пиво, и он дернул за другой конец связавшей нас невидимой нити.

— Как тебя зовут, деточка? — спросил этот мнимый ровесник, отхлебнувший эликсира бессмертия из чаши самого сатаны, когда тот отвернулся. Я действительно чувствовал себя сопляком рядом с ним.

— Адам, — промямлил я и только потом сообразил, что впервые за много лет произнес свое

настоящее имя.

— Ха! Слишком много чести. Я буду звать тебя... — он щелкнул пальцами и на секунду закрыл глаза, словно рылся в памяти, — Санчо. Ты пойдешь со мной, — сказал он тоном, не терпящим возражений. — Мне нужен смысленый помощник, знающий эти места. Ты согласишься. Тольконими с себя бабьи тряпки, и я дам тебе шанс стать мужчиной!

Я послушал его и сделал так, как он приказал. А разве у меня был выбор? Я заглянул на дно его изумрудных глаз и понял: выбора нет. На дороге моей судьбы в тот вечер не оказалось развилки.

* * *

...Напоследок он назвал мне еще одно имя.

— Я — Габриэль, — просто сказал он, как будто это должно было исчерпать мое любопытство.

(Я долго не мог произнести вслух этого имени. С ним была связана одна старая, светлая и романтическая легенда — история любви Габриэля и Эльги, чьи имена вливаются друг в друга, конец первого служит началом второго и наоборот. Это была легенда из моей далекой страны, и я не мог не думать, что он употребил имя намеренно. Но без Эльги оно было, словно... ампутированная

конечность. Чужое, присвоенное, заимствованное из другой истории, будто кожа, содранная с невинного человека...)

Одна мысль не давала мне покоя, и я много раз возвращался к ней. Он мог бы сделать своим рабом кого угодно. Но почему он выбрал именно меня?

* * *

Я посетил свою конуру лишь затем, чтобы захватить кое-какие вещи. Однако, лежа в раздумье на голой кровати, решил не брать ничего. Я хотел бы не только оставить тут тряпки, но и отбросить «хвост», словно ящерица. Прижатый каблуком «хвост» — мое ущемленное достоинство. Я был внутренне готов к обновлению, другой жизни, нехоженой дороге — и уже начинал ненавидеть все, что связывало меня с Боунсвиллем. Здесь не за что цепляться, не о чем сожалеть. Пропавшие годы... Но прежде была гораздо более яркая история...

Чужеземец заразил меня болезнью, для которой не придумано названия. В его дыхании был вирус цыганщины, в уверенности — неприкаянность, в жажде — отрицание, в спокойствии — одержимость, в опустошенности — свобода.

Я задул свечу и закрыл дверь.

Хозяйка ждала на лестнице, чтобы напомнить в очередной раз о просроченной плате. Мелочная, суетливая курица. Теперь она казалась мне смешной... Я, не глядя, сунул ей пригоршню медных монет, которые раньше пересчитал бы до единого гроша.

Никому ничего не должен. Все мои долги — впереди.

2

Еще недавно мне казалось, что падать некуда, но вот нижняя точка моего падения. Я сижу в темной комнате отеля, а в соседней спальне Габриэль и Мадлен предаются безудержной страсти. Не уверен насчет его экстаза, но она-то уж точно вне себя. Я слышу их тяжелое дыхание, его агрессивное рычание, ее бесстыдные стоны, визги, сосущие звуки и непристойные словечки, которыми она осыпает и подстегивает любовничка (впрочем, любовничек, кажется, и без того хорош). Но для меня эти словечки — как укусы пчел, как прикосновения к свежим ранам, как поцелуи окровавленных губ, запечатленные на черной гниющей коже...

Мое сердце тоже кровоточит. Я предал свою незрелую любовь, даже если перепутал ее с похотью. Что бы там ни говорили, похоть —

снаружи, а любовь — внутри... Я считал малодушным заткнуть уши или попросту сбежать. Не лучше ли умереть, как мужчина, ворвавшись в спальню с ножом в руке? Я ведь знал, что не успею вонзить клинок ему в спину. Со мной случится то же, что с Малюткой. А если сверху окажется Мадлен? Я догадывался, что сделает Габриэль. Он заставит меня убить ее — как бы случайно, по ошибке, в состоянии аффекта. Он свяжет нас кровью. Я принесу ему человеческую жертву, и он примет ее благосклонно. Это будет жертва от себя — себе же. Через меня. Я — всего лишь посредник в его жутковатых играх. Так что мне оставалось лишь ждать, копить злобу, искать источник силы и надеяться, что когда-нибудь ее окажется достаточно, чтобы разорвать темную цепь, которой он сковал меня.

Другие постояльцы отеля тоже невольно слушают ночной концерт. Никто не смеет возмутиться. На всех девяти этажах — оцепенелая тишина. Кстати, отель называется «Турист». Все уже начали постепенно забывать, что означало это слово. Оказывается, в старину было полно кретинов, которые путешествовали исключительно ради собственного удовольствия. Можете себе такое представить? Это было что-то вроде общедоступного развлечения, к тому же — почти совершенно безопасного. А костями тогда

интересовались разве что археологи, палеонтологи или законченные извращенцы...

Чтобы отвлечься от происходящего за стенкой, я думал о тех невообразимых временах и пытался представить себя шагающим к горизонту — просто так, от скуки и безделья, — или разводящим костер посреди темного дикого леса — тоже просто так, чтобы отдохнуть на природе. Пока я думал об этом, наступила глубокая ночь, и внутри черной рамы окна ярко запылали звезды...

Постельные утехи возобновляются. Мадлен плевать на всех. Она не принадлежит себе. Она вопит, как кошка, раздираемая инстинктом. Уже непонятно, что выражают ее дикие вопли — наслаждение, боль или ужас перед наступающими кошмарами.

Вместо того, чтобы спать, я застыл на краешке стула под пристальным наблюдением полной луны. Жирная матрона прогуливается над крышами домов в редколесье флюгеров. Она назойливо пялится в окна, а на столе, источая приторный аромат, увядает цветок, вынутый из волос цыганки...

Вопли стихают не скоро. Пытка заканчивается, но я жду ее продолжения. Слышны какие-то шмыгающие звуки. Кажется, Долговязая плачет. Что-то хлюпает, как будто постель пропиталась потом, соком и спермой.

— Санчо! — зовет Габриэль. — Принеси

вина, болван!

Наверное, он испытывает меня своими издевательствами. Хочет посмотреть, до какой степени простирается человеческая низость, где предел терпения, за которым исчезает страх. Мне еще далеко до этого предела. О, я готов выдержать многое, чтобы обрести запретную силу! Габриэль показал мне мою награду, и теперь я не остановлюсь ни перед чем...

* * *

Я откупорил очередную бутылку «вермута», взял два чистых бокала, поставил на поднос и открыл дверь в спальню.

Они лежали на кровати, как два загнанных зверя. Свеча чадила на низком столике, где валялись побрякушки Мадлен, поспешно сорванные всего несколько часов назад, но уже успевшие покрыться плесенью. Ее платье и надушенное тонкое белье были брошены на пол, а нижняя юбка зацепилась за перекладину дешевого гипсового распятия из тех, что обычно можно видеть в отелях и домах бедняков. Его вещи были аккуратно сложены на стуле; рака стояла возле изголовья. Шляпа была надета на вазу и больше, чем когда-либо, напоминала чучело фантастической птицы. Красный плащ висел на

вбитом в стену гвозде.

Повсюду порхали хлопья пепла, как птицы, уменьшенные до размеров мотыльков. Была душная ночь, но оконное стекло покрылось инеем. Много странного было в той комнате. А я долго не мог оторвать взгляда от простыней, запачканных кровью так обильно, будто здесь резали петуха.

— Что уставился? — спросил Габриэль. — Эта сука протекает, как дырявый мех. Зато сегодня она точно не заполучит гаденыша в брюхо!

«Ну так подстелил бы ей свой плащ», — подумал я, но, конечно, не посмел ничего сказать.

Мадлен лежала, широко раздвинув ноги, и безучастно глядела в потолок. В ее щель, окруженную темными волосами, были засунуты четки на разорванной нитке, и казалось, что она плодит одну за другой белых улиток. Бедра покрывала какая-то розовая пена. Под ногтями запеклась кровь. На груди были различимы следы укусов. Поскольку она все еще глубоко дышала, я ни на секунду не принял ее за мертвую.

Габриэль тоже не потрудился укрыться при моем появлении. Его остро заточенный и татуированный сук, не утративший твердости полностью, изгибался в виде буквы «S». На нем были заметны следы хирургического вмешательства, в результате чего он превратился в орудие утонченного и извращенного насилия. Судя

по Мадлен, она получила полное представление о его возможностях.

Габриэль вырвал у меня из рук бутылку, отпил из нее залпом больше половины и очень скоро уже не выглядел утомленным. То ли он умел быстро восстанавливать силы, то ли усталость его была наигранной и фальшивой, но признаки ее исчезали так же легко, как пот испаряется с горячей кожи.

У него на шее была татуировка — свившиеся между собой змея и затянутая веревочная петля виселицы. Во впадине солнечного сплетения блестела бляха в виде звезды с номером и встроенным чипом, запуская свои лучи-контакты под кожу. Кажется, это была бляха жреца-чаклана, но даже дети знают, что чакланы не собирают костей! Они только отправляют обряды Возвращения (как будто этого мало!). Откровенно говоря, я не мог даже вообразить, что случится, если один и тот же человек попытается совместить оба занятия! Это было строжайше запрещено и грозило чем-то худшим, чем адская гибель. Табу такого рода не нарушаются никогда, в противном случае рухнет все, и тогда не о чем больше говорить...

И я пришел к выводу, что этот человек, назвавшийся Габриэлем, был ренегатом, осужденным и изгнанным из секты за поистине

чудовищную ересь. «Не многовато ли для тебя?» — подумал я, чуть ли не пожалев его в эту минуту. Я, червь под сапогом, мог искренне жалеть того, кто даже не заметил бы меня, если бы раздавил! Он будто принял на себя груз нескольких, не самых праведных, жизней и нес его, высоко подняв голову, — в то время как я не сумел справиться и с тяжестью одной судьбы.

Но он обладал редким даром все портить, вырывать с корнем ростки привязанности и выскребать зародышей любви.

— Хочешь развлечься? — спросил он у меня, мотнув головой в сторону Принцессы. Он знал, знал о моей тайной страстишке!

Я посмотрел на красотку Мадлен. Той было все равно. У нее в зрачках клубились тени, и я сомневался, что они когда-нибудь рассеются полностью. Теперь это была просто мягкая кукла. Подушка для булавок. Можно было воткнуть в нее и свою, но зачем? Я смотрел на нее и с невыразимой печалью прощался с нею. Мы будто расставались, не познав восторга близости. Она была все такая же красивая, но потеряла для меня всякую привлекательность. Он выпил из нее жизнь.

Я покачал головой.

— Сентиментальный слизняк! — засмеялся Габриэль, прочитав мои мысли, и мне стало не по себе. Я видел, что он прикидывает, не устроить ли

оргию, не вовлечь ли меня прямо сейчас в хоровод содомского греха, не подобрать ли и ко мне такого же ржавого ключа, которым он имел обыкновение заводить и ломать свои живые игрушки. Он знал, как устроен механизм внутри каждого из нас, и мог бы вынуть пружину, заставлявшую меня двигаться и жить.

Потом он, видимо, решил, что ему пока достаточно одного сломанного человечка, а другой пусть подождет, повисит еще на тонкой веревочке, которая или задушит его, или оборвется. В любом случае человечку конец, но надо было считаться с практическими нуждами...

Он постукал папироской по крышке серебряного портсигара, ожидая, пока я поднесу огня. Забыл сказать, что на каждый из пяти пальцев его правой руки было надето по кольцу, а запястье левой схвачено браслетом часов. И часы, и кольца были дорогими и необыкновенными. По одному из широких колец шла арабская вязь; на другом угадывалась надпись, сделанная кириллицей. Кроме того, я успел совершенно точно разглядеть две переплетенные буквы на портсигаре — вероятно, инициалы владельца. Я не удивился бы, если бы узнал, что Габриэль показал мне их специально. Поистине дьявольские штучки! Вероятно, он хотел, чтобы не я вел его по следу, а мои непроизвольно возникающие мысли... Но он ошибся. У меня не

возникло ни одной предательской мыслишки. Инициалы ни о ком мне не говорили, а самого портсигара я никогда раньше не видел.

Я поднес ему свечу, держа руку лодочкой, чтобы воск не капал на его голое тело. Я старался быть хорошим, услужливым слугой и надеялся, что он это оценит. Напрасно надеялся...

Габриэль затаился пару раз; я услышал, что папироса, тлея, издает прелестные звуки, напоминающие отдаленную трескотню цикад. Дымок свивался в спирали, которые ввинчивались в стены и исчезали. Пепел по-прежнему носился под низким потолком стайкой серых птичек и не оседал. Узор инея на стекле составил ясную зеркальную надпись из одного слова: «LIEBESTODS»³.

— Санчо, сынок, пора тебе начинать отрабатывать свой хлеб, — заметил Габриэль с безжалостной улыбкой, хотя я еще не съел ни единой корочки с его стола. — Кто может знать о смерти Шепота? Подумай об этом. У тебя есть время — до утра... У нее уже нет времени, — добавил он, имея в виду Долговязую.

А может быть, я чего-то не понял.

³ LIEBESTODS — Любовь до гроба (нем.).

Утром он прогнал Мадлен, как последнюю потаскуху. Она не произнесла ни слова. Оделась и ушла, не умывшись и не расчесав своих спутанных волос. У Долговязой, при ее внушительных габаритах, был вид собачонки, не понимающей, за что на нее рассердился хозяин. А ему она просто надоела.

Прежде чем приступить к делам, Габриэль принял ванну и выпил две чашки крепчайшего кофе. Между первым и вторым номерами утренней программы он извлек из кармана сюртука плоскую флягу из нержавеющей стали и приложился к ней, объявив, что это «спиритус мунди». Но моих чувствительных ноздрей падшего аристократа коснулся аромат, знакомый с детства и уже основательно подзабытый. По-моему, во фляге было не что иное, как старый, божественно старый коньяк.

Стоило мне учуять этот запах, и на внутренней стороне век возникли картинки из моего детства — призрачные, замутненные капризами памяти, непоправимо далекие, — и все же от них сладко щемило сердце.

Я видел интерьеры пентхауза в старинном замке моего отца; витражи, сквозь которые падал лунный свет и ложился на пол голубоватыми

бесплотными плитами; гигантских черепах и клонированных русалок, томно круживших в кристально прозрачных водах бассейна; полуистлевшие полотна и голограммы скульптур; людей в пятнистых масках — то ли охранников, то ли наемных убийц, то ли просто участников бала-маскарада; пары, завораживающе медленно двигавшиеся в странном танце под тягучую мелодию «Кашмир»... Что-то мешает мне «видеть». Может быть, слезы затуманивают взгляд, обращенный внутрь...

Но вот туман рассеивается. Следующая картинка. Мне восемь лет, я сижу на возвышении у стены громадного зала. Ряды колонн тянутся вдаль, до самого горизонта. Это называлось «развивающийся храмовый интерьер»... Невообразимо красивые дамы подходят и целуют мою вялую руку с голубыми прожилками вен и кусочками змеиной кожи на ногтях. Мне скучно, и шелест атласа напоминает лишь о том, как шумят крылья летучих мышей в заброшенной часовне (наверное, уже тогда было ясно, что я не создан для наслаждения властью, а лишь для меланхолических грез, — однако никто не потрудился вникнуть в это)...

Отец возвращается из Лабиринта Чудовищ, и все собравшиеся приветствуют его с очередной победой, но не слишком бурно — ведь нет вообще

ничего важного, и чрезмерное проявление чувств, равно как и придание чему-либо особого значения, считается дурным тоном. Отец говорит, что видел тень Сияющего Зверя, и при одном только упоминании о Звере возникает зловещая пауза, наполненная тревогой и благоговением...

Затем отец снимает шлем виртуальной реальности, перчатки с сенсорами и отдает их груму. Группа продолжает играть; музыка звучит безостановочно; пары вычерчивают на гладком полу траектории, как звезды, вечно летящие сквозь пустоту...

Нам далеко до Древнего Рима. Мы растеряли даже звериную жажду обладания. Разврат у нас не так чудовищен, развлечения не столь кровавы, а насильственная смерть попросту театральна. Она так же хорошо изучена во всех мыслимых видах и так же бесцветна, как любые стороны жизни. Кровосмешение? Мы давно уже считаем себя выродившимися. Все было, все испробовано и повторится несчетное количество раз. Все человеческие пороки банальны и скучны, как сама добродетель. Тоска библейского меланхолика передается по наследству, будто вирус. В наши времена ее разделяют даже дети. Вялую агонию дряхлого старца можно без труда распознать под любой маской. Что-то надломилось в стебле поколений — и поник жалкий, нераспустившийся

цветок. Вниз, вниз — теперь уже только вянуть, глядя вниз, и сбрасывать лепестки... И при этом у нас чрезвычайно низок уровень суицида. Все хотят до конца испытать горький яд в надежде, что он окажется лекарством. Но доза слишком велика. Да и надежда — всего лишь обреченный выкидыш разочарования...

Как можно жить, если любое деяние заранее представляется бессмысленным, а проявление любого чувства — невыносимо фальшивым? Если каждое движение, каждый жест отбрасывают тень пошлости? И, что еще хуже, ни в чем нет подлинной красоты. Даже дьявольское зло перестало быть эстетически притягательным.

Мы измельчали до предела; сбежали с полюсов любви и ненависти на экватор безразличия и посредственности. Крайности пугают нас; это пропасти, со дна которых нет возврата. Только луна еще вызывает приливы и отливы угасающего чувства в лунатических душах; ее бледный свет порождает химерическую суету...

Сова Минервы заканчивает полет в сумерках. Это век, наслаждающийся своим падением. Запыленный, порочный, умирающий, отдающий сладким душком тления, уставший от всего и от самого себя мир, возвращение средневековья, постиндустриальный упадок, рак цивилизации, переходящий в летаргический сон, апогей

декаданса. Но как назвать то, что окружает меня сейчас?!

Только несколько секунд длится очарование, только несколько секунд вдоха, задержки дыхания и воспоминаний. Ничтожное количество паров коньяка попадает в мои легкие... Благодаря этому и за секунды я снова успеваю вернуться на двадцать лет назад.

Отец и его ближайшие друзья пили коньяк, один глоток которого стоил больше иного бриллианта, и аромат напитка тогда казался мне неприятным. Каждый тост прославлял смерть. Все стихи были о ее сладости. Все песни выражали жажду небытия...

Другой вечер. Для него был выбран ландшафт греческого острова. Красота, губительная для души. Нега, растворяющая и без того подточенные старостью силы. Невозможная синева небес и вкрадчивый шепот моря, рассказывающего нескончаемую легенду. Белые портики, разбитые колонны, торсы и фиговые листки героев, бессильные руки богинь, розовые облака цветущих садов. Несгораемый закат, всепогодная чистота...

Как только я начинал поддаваться агорафобии, возникал интерьер картинной галереи, уходящей в бесконечность. Один и тот же портрет повторялся несчетное количество раз. Повторение обладало несомненным терапевтическим

эффектом...

Очередной бал. Мать с огромным животом, на восьмом месяце беременности, сидела в кресле с высокой спинкой и усталым взглядом следила за происходящим. На ее губах застыла ничего не выражающая улыбка. Отец подходил, прилюдно прикладывал ухо к животу, а затем целовал его четырежды — крестообразно. И все вокруг склоняли головы, символически оплакивая скорое возвращение в мир еще одного несчастного, похищенного природой у вечности и уловленного в сети сансары. Лицо матери искажалось, становилось жалким и растерянным; отцу приходилось утешать ее...

И снова мелодия «Кашмир»; и пейзаж в сложном настроении «жизнь — пустыня; смерть — оазис; оазис — мираж»; и снова грезы; и снова путь под черным солнцем и ледяной луной; и вой ветра, засыпающего песком обезлюдевшие города и обглоданные кости бедуинов; и мрамор, изъеденный эрозией; и брошенные храмы забытых богов; и тень коршуна, пересекающего ослепительное небо днем; и ужасающее молчание звезд ночью; и безголовые статуи, к которым нельзя прикоснуться, потому что они сотканы из лазерных лучей; и неоновые вывески «Бог тоже забывает» на святилищах чакланов; и черные стяги тоски, вонзенные в мозг с раннего детства...

Потом — интерьер «Версаль». Отец удалялся с фаворитками, а мать прикладывала салфетку к своим губам, намазанным фиолетовой помадой, и оставляла на ней почти круглый отпечаток с сотнями мельчайших крапинок, и затем посылала меня к отцу с этим знаком любви, смысл которого я понял только тогда, когда случайно застал отца в оранжерее с другой дамой. Орхидеи окружали их, будто бесстыжие глаза флоры подглядывали за противоестественным соитием. Я не смел мешать. Но однажды отец заметил меня и сказал: «Иди к нам, малыш. Посмотри: вот святая женщина, думающая прежде всего о благе нерожденных!» После этого он засмеялся, а она была слишком занята...

Когда сворачивали ландшафты и отключали интерьеры, я отправлялся бродить по «настоящим» залам, спускался на лифте в подвалы, на заброшенные этажи, глотал вековую пыль, потревоженную мною, и понимал, что затхлый воздух может пахнуть временем. Я перелистывал огромные гербарии растений, давно исчезнувших с лица земли, трогал бабочек, пришпиленных к картону внутри вычурных рам, и не испытывал жалости и угрызений совести, когда они рассыпались в прах. Я отряхивал этот прах и шел дальше, рассматривая отцовскую коллекцию старинных автомобилей, чучела и реконструкции

вымерших животных, восковые фигуры людей прошлого, читал имена, которые ни о чем мне не говорили — Ленин, Гитлер, Сталин, Наполеон, Эйнштейн, Гейтс, Гагарин, Пресли, Тейлор... Сколько я себя помнил, меня окружали муляжи. Все было более или менее удачной подделкой, призванной механически воспроизвести или скопировать жизнь в тщетных попытках обрести утраченное.

Страна вечного упадка... Поверьте, я осведомлен о том, что ничто не длится «вечно». Скажем иначе: непреходящего упадка. Даже в периоды потрясений или так называемого «подъема» зерно упадка не засыхает и не гниет. Оно вызревает где-то в глубине, чтобы дать всходы уже при жизни того счастливого поколения, которое избежало гибели на войне и застало сомнительный «расцвет». Я ни дня не ощущал себя частью развивающегося общества — по-настоящему молодого, растущего, устремленного в будущее. Кто-то рождается в чистой земле, а кто-то в трясине. И дело тут не в способностях или желании что-либо изменить. В паузах бравурных маршей застыла апатия; во взглядах стариков сквозит разочарование или маразм; рядом с пятидесятилетними можно ощутить их покорность судьбе и тяжесть времени, убившего их мечты; на веселых лицах юнцов лежат

отсветы кровавого прошлого; все опутано тайной и удушливой паутиной ВЛАСТИ, а значит — лжи во благо.

Но времена всеобщей «благодати» никогда не наступят. Я знал это абсолютно точно. Я — часть этой власти. Я — часть тотального обмана, мифа о слабом существе, принявшем на себя тяжкий крест тирании...

И червь непрерывно гложет мое сердце.

* * *

...Что-то похожее на пощечину без шлепка ладони вывело меня из транса. Оказалось, я чуть не пролил обжигающий кофе. Зеленые глаза Габриэля пристально глядели на меня, и я понял, что они прозревали то же самое, что вспоминалось мне. Ключик провернулся где-то внутри меня, открыв одну из тысяч дверей, за которыми заперты демоны...

Что ж, я готов был сыграть с ним в эту игру. Я и сам хотел бы превратиться из дома привидений с наглухо заколоченными окнами и комнатами — угольными мешками, затопленными подвалами и слизняками под полом в анфиладу с настезь распахнутыми дверями, сквозь которую помчался бы свежий ветер и солнечный свет. «Проделай во мне коридоры, проклятая тварь!» — мысленно

попросил я Габриэля. Но он уже не «слушал» меня. Он пил свой утренний кофе.

Я придумал кое-что за то время, которое он мне дал. Я решил отвести его к ясновидящей Кларе.

Кроме того, я обещал вам оставаться незаметным повествователем, но слишком много треплюсь о себе. Готов поспорить, что на это тоже была воля Габриэля. Ничего не поделаешь — ведь я только тень человека, которая возжелала найти того, кто ее отбрасывает...

3

Клара была чудовищно толстой и вряд ли могла сдвинуться с места без посторонней помощи. От нее приторно-сладко пахло ароматизированной пудрой. На протяжении всего приема она сидела, расплывшись на кушетке и обложившись подушками. Возле ее необъятной левой ляжки примостилась поседевшая и полуоблезшая пародия на пуделя — дряхлый кривоногий кобель, который, слава богу, хотя бы не тявкал. Сначала я вообще принимал его за чучело, пока он не дернулся, а Клара не скомандовала: «Ричард, сидеть!» В пределах досягаемости ее рук, будто скатанных из рыхлого теста, находилось всего несколько предметов: жидкокристаллический экран, колода карт, улыбающаяся кукла с воткнутыми в череп

булавками, рентгеновские пленки (опять кости; всюду проклятые кости!) и логическая машинка Луллия, переделанная из стариннейшего арифмометра. Весьма скромный, банальный и не слишком впечатляющий набор, но я не доверял нововведениям.

Габриэль оглядел интерьер салона и аксессуары со скептической ухмылочкой. До этого он посмеивался и надо мной. Пока мы пробирались по улицам города — он верхом на своей бледной кляче, а я пешком, держась за стремя, — мне пришлось выслушать столько упреков в ничемности, что их хватило бы на двадцать Господ Исповедников. Зато я узнал, что мой новый хозяин обладает прекрасным чувством юмора, хоть и ядовитейшего свойства. Не раз он заставлял меня сгибаться пополам от смеха, и я начинал задыхаться, потому что не поспевал за ним ни телом, ни мыслью.

Все уже знали о прискорбнейшем происшествии с Малюткой Лохом и старались держаться от нас подальше. Вместе с тем обыватели хотели видеть, что предпримет мэр, и я частенько оглядывался, ожидая появления Миротворцев. Габриэлю же было плевать на все и на всех. Он откровенно издевался над нравами Боунсвилля, его ветхими строениями и убогими обитателями, но он еще не был в богатых кварталах и не видел город с

«лучшей» стороны.

А теперь он издевался над Кларой, но та терпела — клиент обещал хорошо заплатить. У нее было не так много клиентов, а самцы, прожигавшие насквозь похотливым взглядом — до самой зловонной и непотревоженной трясины состарившегося лона, — попадались ей очень давно...

Ясновидящая жила в аккуратненьком домике из красного кирпича с черепичной крышей. Ухоженный садик с белой скамеечкой под грушей дышал уютом. Коновязь выглядела чисто декоративной деталью; даже полудохлая кобыла Габриэля могла бы, подавшись назад, выдернуть ее из земли и утащить за собой. Мещанские навесики над окнами и цветочки в раскрашенных деревянных ящиках успокаивали. Болтали, будто бы Клару много лет назад лишили лицензии психотерапевта за любовную связь с душевнобольным пациентом. Я допускал, что и такое могло случиться. Чего я только не насмотрелся — а ведь я был еще молод!..

Когда мы приблизились, стало слышно, что в доме заведен патефон. Хриплый мужской голос, пробиравший до костей, пел на том английском, который употребляли до смешения языков:

...Она говорила ему, что любовь никогда не умрет,

Но однажды он узнал, что она лгала...

Это была старая, забытая песня, и вдобавок пластинка немилосердно трещала. Но Габриэль вдруг разительно изменился в лице. Мне показалось, что его кожа почернела и даже сияющие глаза погасли. Через секунду это был прежний опасный авантюрист, истекавший сарказмом, но теперь я знал, что и у него есть уязвимые места. Это могло мне дорого обойтись, и я сделал вид, что ничего не заметил.

Девочка — то ли служанка, то ли ученица (у Клары не было своих детей, по крайней мере никто в городе о них не знал) — провела нас в комнату, погруженную в вечные сумерки. Небрежным жестом Габриэль велел мне оставаться у двери. Здесь я чувствовал себя неуютно. Какому-нибудь придурку вроде Малютки вполне могла прийти в голову бредовая идея разобраться с инородцем и заявиться в салон Клары с оружием. В самом деле — это было тихое местечко, в высшей степени подходящее для дел такого рода. В этом случае я был бы первым, кто получил бы заряд свинца в спину. И потому моя спина все время чесалась.

Жалюзи на окнах были закрыты. Горели свечи и курились благовонные палочки. На каминной полке лежали «Большой атлас регионов мертвых», изданный в начале прошлого века профсоюзом

собирателей костей, и томик с перламутровым крестом на переплете, весьма похожий на молитвенник, — но, судя по цвету бумаги, это был запрещенный «Черный breviарий». Ничего не скажешь, редкое издание... За спиной Клары висел портрет мистера Кроули. С потолка свисала лампа с абажуром в виде панциря черепахи. Да, чуть не забыл: на шахматном столике были будто напоказ выложены затасканные таблицы эфемерид планет — совершенно бесполезные, ибо их составили несколько десятилетий назад те астрологи, которые еще умели это делать.

Одной брезгливой гримасой хозяин вынес приговор эклектичной и дешевой декорации. Я надеялся, что он не сочтет Клару столь же дешевой самозванкой. Она действительно обладала редкостным даром, и слава о ней распространилась далеко. Однако люди редко ощущают то, что скрыто в глубине, и куда больше доверяют видимости. Потребность помнить давно признана вредной. Многие желали бы забыть прошлое, и лишь некоторые хотели знать свое будущее. И еще меньше было жаждущих вскрывать гнойники тайн.

Но сегодня к ясновидящей, похоже, забрел настоящий ценитель гноя. Она честно старалась быть ему полезной. *Все* старались быть ему полезными, но мало у кого это получалось. Я продержался дольше других. Клары хватило минут

на сорок.

Она выслушала его молча. Ни одна складка не дрогнула на ее жирном желеобразном лице, хотя поговаривали о ее темных делишках с Шепотом. Мне и в голову не приходило, что я ее подставлял. В конце концов Габриэль рано или поздно все равно добрался бы до нее, и тогда было бы только хуже. Сейчас же он разыгрывал из себя приличного человека, если в отношении его можно употребить это слово.

Когда он закончил, она кивнула, прикрыла веки рептилии и опустила пальчики-сосисочки на экран. С минуту сидела, погружаясь в транс (а может, думала: «Катитесь-ка вы оба к черту!»), потом стала совершать плавные движения кистями, словно сдирала с экрана тончайшие невидимые пленочки.

Я видел подобное действие не впервые и всякий раз сомневался в успехе, но снова и снова убеждался в том, что она «очищает» экран до такой степени, что на нем становится различимым некое изображение. Может, это был и примитивный фокус, однако повторить его без специальных приспособлений не удавалось никому. Клара, насколько я понимал, не пользовалась никакими приспособлениями. Правда, изображение не отличалось четкостью и конкретностью. Чаще всего это были просто движущиеся пятна и тени.

Трактовать их можно было как угодно — в том и состояло искусство Клары. Если же экран оказывался бесполезным, оставались еще логическая машинка и Зеркало Хонебу. Зеркало ясновидящая использовала только в крайнем случае. Я сильно подозревал, что сегодняшний случай именно такой.

Пока она священнодействовала с экраном, Габриэль закурил папироску от одной из черных свечей и пускал дымок, бесцеремонно развалившись в кресле. Я стоял у двери и разглядывал сумрачную берлогу Клары. На антикварном патефоне Берлинера все еще вращалась пластинка. На бумажном плакате, висевшем в стенной нише, был изображен полуголый мускулистый священник, пронзающий какую-то нечисть обломком кованого креста. На двух гобеленах-близнецах была запечатлена битва мотоциклетных банд. Большие маятниковые часы напоминали гроб, поставленный вертикально, только в квадратном окошке вместо лица покойника виднелся циферблат с полустертыми делениями и тусклые стрелки. Часы были устроены так, что медленно опускавшийся маятник в виде топора рассекал пополам куклу-узника и тут кончался завод. Странный однако вкус у старушки! Потом я вспомнил, что она тоже была когда-то молодой, а может быть, даже не такой толстой и

пригодной для употребления...

Вдруг я заметил, как без всякой видимой причины заколебались портьеры, на которых были вытканы золотые дракончики. Внезапно возникший сквозняк приподнял сиренево-седые букли на голове ясновидящей, в результате чего ее прическа стала похожа на нимб, сотканный из паутины. Габриэль переместил папироску в уголок рта и похлопал в ладоши.

— Давай, давай! — поощрил он Клару. —
Время — деньги.

Как только он это ляпнул, часы пробили полдень и раздался звон монет, посыпавшихся из них, будто из игрового автомата. Все монеты оказались золотыми, старой чеканки и давно вышедшими из употребления. Это была шутка не лучшего пошиба. Многократно распиленная кукла издала ржавый хохоток.

Клара то ли действительно погрузилась в транс, то ли предпочла не обращать внимания на происходящее. Ее зрачки хаотично блуждали под опущенными веками, а из-под волос поползли струйки пота, оставляя дорожки в пудре.

Мне и самому показалось, что в комнате становится жарковато и душновато. Еще бы — свечи горели, три человека дышали, один курил, ну и Ричард, конечно, сопел в свои две дырки, не сводя с Габриэля вылупленных глаз. Песик напоминал

мне последнего отпрыска дегенерировавшей династии аристократов с полностью утраченным чувством реальности и с выдающейся неспособностью предчувствовать опасность. Я сомневался, что это несчастное животное почует приближение землетрясения, не говоря уже о неопределенной угрозе, которую представлял собой зеленоглазый двуногий монстр...

Вскоре Клара начала еле слышно говорить. Разобрать, что она там бормочет себе под нос, было невозможно, хотя я слушал так же внимательно, как осужденный слушал бы приговор, выносимый старым судьей-маразматиком.

Габриэль поморщился и бросил на меня взгляд, не суливший ничего хорошего. Я и так уже жалел, что поставил на Клару. Не хотел бы я оказаться среди тех, кого хозяин сочтет для себя бесполезными.

Я становился на носки и вытягивал шею, пытаясь заглянуть в экран, лежавший на коленях у толстухи. То, что я увидел, напоминало паука-свастику, бегавшего от одной черной лузы к другой по зеленому мерцающему полю. Постоянно следить за ним было, наверное, чертовски утомительным занятием...

Наконец ресницы Клары взлетели вверх. Она уставилась на нас мутными глазами. Ее зрачки были расширены, будто она и впрямь бродила в

нездешней тьме. Я не мог бы сказать в точности, что с нею произошло, но по крайней мере ее речь стала членораздельной. Правда, болтала она всякую ерунду:

— Даже мертвые не спят спокойно... Одни могилы молчат. Другие орут. Третьи взывают к мщению. Слышу два поющих склепа. Ни одна могила не шепчет...

— Что за хреновина?! — воскликнул Габриэль. — Санчо, дурень, куда ты меня привел?

И все же я чувствовал, что он забавляется этим представлением.

А Кларе уже было не до забав. Кажется, она угодила в ловушку. Чужак проник вслед за нею в ее тайный сад, и теперь бедняжка обнаружила, что тропинки, которыми она многократно пробиралась в мире теней, отыскивая и узнавая вещи с изнанки, исказились; карты лгут; ориентиры перепутаны, и нездешние призраки стерегут выходы, отпугивая посвященных...

Клара испугалась, но так, как пугаются в дурном сне. Она стала похожа на уродливого ребенка, погрузившегося в кошмар. Морщины на ее лице напоминали извивающихся червей. Собственное прошлое было ее смертельным врагом. Она хотела бы разрушить и испепелить корявые лабиринты памяти, но они стояли незыблемо, как крепость, а из-за стен,

спрессованных болью и временем, доносился злорадный хохот шпиона, проникшего туда через нору в подсознании, и предательское эхо повторяло подавленные мысли. У ее памяти не было глаз, которые можно было бы выколоть, а ее мозг «говорил» без помощи языка, который можно было бы вырвать. Впрочем, язык из плоти тоже был ее врагом. Какая-то посторонняя и потусторонняя сила выжимала из нее слова, как кулак выдавливает дерьмо из звериной тушки. И спасало только то, что символы, разбросанные на тайных путях, были слишком невнятные — в противном случае она сама куда лучше распорядилась бы своей никчемной жизнью, пришедшей к страшной старости.

...Частицы пудры отклеились от ее лица и парили вокруг головы, словно рой мельчайших белых мух. За ее спиной возникали туманные фигуры, которые то засовывали ей пальцы в уши, то застилали глаза, то заползали в рот или ноздри. Судя по всему, Габриэль боролся с искушением заставить Клару выражаться яснее, но опасался «сломать патефон» раньше, чем песенка будет допета до конца. Ричард жалобно поскуливал и пытался спрятаться за необъятный зад хозяйки. Та продолжала торопливо бормотать.

Из ее бессвязного монолога я сделал единственный вывод, что Шепоту не повезло и после смерти. По-моему, его кости попросту

растасили дилетанты. Для настоящего собирателя это была самая неприятная информация — все равно что для хорошего ювелира известие об уникальном алмазе, распиленном на части. И, цветисто выражаясь, даже алмазная пыль развеялась над океаном — так что было от чего впасть в пессимизм.

— Что ты мелешь, черт тебя подери? — сказал Габриэль, перерезав нескончаемую, но гнилую нить ее болтовни. — Доставай зеркало и займись наконец делом!

Клара заткнулась и в течение нескольких десятков секунд напоминала сомнамбулу. Она словно задержалась там, куда привел ее сомнительный дар, и торчала, потерянная, среди изменившегося пейзажа, забыв обратную дорогу. Потом она с трудом ее вспомнила и медленно «пошла домой».

Взгляд ясновидящей я и раньше не назвал бы ясным. Сейчас он стал совсем непроницаемым, как осадок в пивной кружке. Она протянула руку, колыхавшуюся так, будто плоть сползала с кости, и засунула ее в ящик, стоявший возле кушетки. Тут ее охватил очередной приступ сомнений и опасений. Но лучистый и пристальный взгляд Габриэля осветил ей путь.

Поколебавшись немного, Клара извлекла из ящика приспособление, которое в здешних краях

называют Зеркалом Хонебу. На моей родине оно называлось немного иначе. Как-то раз меня по глупости угораздило заглянуть в него, и я не хотел бы, чтобы это повторилось. В Зеркале Хонебу можно кое-что увидеть, но взамен необходимо кое-что *отдать*. Я понял, что сделка невыгодна, как только от меня отрезали малюсенький кусочек. Чего? Не могу выразить словами. Но вы бы это тоже почувствовали, можете мне поверить... Зеркало — опасная игрушка. Пользуясь им, надо либо обладать неисчерпаемым запасом того, что забирает Хонебу в качестве платы за услуги, либо очень быстро превратишься в ходячий манекен.

Клара, конечно, знала об этом не понаслышке и намного лучше меня. Ей очень не хотелось заглядывать в Зеркало. Но пришлось.

Ее лицо исчезло в тени, густой, как черная сметана. Тень падала *оттуда*. Голос, раздавшийся через минуту, был под стать новому облику — инфернальный, бесполой, далекий, — почти что разряд атмосферного электричества в телефонной трубке (была и такая забава во времена моего счастливого детства).

Голос Хонебу сообщил то, о чем даже я начал догадываться: костей Шепота не было под поверхностью земли — по крайней мере в доступной ее части. Правда, существовали особые способы «упаковки», препятствующие

проникновению демона.

Габриэль отложил папироску, используя в качестве пепельницы логическую машинку Луллия. Его физиономия была бледной и выражала одну лишь непреклонность. Он протянул руку и отнял у ясновидящей Зеркало, нимало не заботясь о том, понравится ли Хонебу то, что ему помешали питаться.

— Ты плохо смотришь, Клара, — проворчал он недовольно. И добавил в сторону, будто обращался к пустоте: — Протри ей фары, Монки!

Клянусь, он так и сказал: «Протри ей фары, Монки!» Я не поверил своим ушам, но пришлось поверить глазам. Через несколько мгновений на уровне их голов сгустилось облако некой субстанции в виде пляшущего человечка размером с карандаш. Не знаю, что это было — дым, пыль, игра света и тени, галлюцинация или все вместе. Во всяком случае, тощий человечек лихо отплясывал какой-то дикий танец. Будь он живым существом, я сказал бы, что он рискует вывихнуть себе суставы.

И вот этот чертов Монки, дергаясь в воздухе без всякой опоры перед самой Клариной физиономией, вдруг протянул свои игрушечные ручки и положил ладони на ее глазные яблоки. Она не мигала; ее поразил столбняк. Монки начал совершать кистями круговые движения, продолжая выделять ногами бешеные коленца. Сквозь его

полупрозрачные ладони я видел, как вращаются вслед за ними ее зрачки...

Пудель Ричард дрожал, как лист на ветру. С его губ капала пена. Не знаю, бывают ли среди собак эпилептики, но это было весьма похоже на припадок.

Судя по часам, процедура «протирки фар» продолжалась меньше минуты, а мне показалось — полчаса. Что же тогда говорить о Кларе! Должно быть, она все-таки «разглядела» кое-что новенькое, потому что глаза ее чуть не вылезли из орбит. Доведя их до такого состояния, Монки отклеил от белков свои ладошки и исчез, испарился, растаял в воздухе.

— Спасибо, Монки, — поблагодарил Габриэль, обращаясь к последнему мимолетному росчерку его тени.

На Клару было жалко глядеть. Не знаю, что она оставила в Зеркале, но за короткое время превратилась в другого человека.

— Что ты теперь видишь, корова? — спросил Габриэль брюзгливо.

— Мне нужна его вещь, чтобы взять след, — прошептала ясновидящая. Ее слабый голос был таким, каким обычно просят победившего врага быть снисходительным и дать последний шанс.

— Твою мать! — воскликнул хозяин, теряя терпение. Он сунул руку в карман сюртука и

выудил оттуда обломок такой же, как у него самого, звезды с чипом.

То, что Шепот был чакланом, поразило меня сильнее, чем все остальное, хотя за последние дни случилось немало удивительного. Оказалось, что все, кого я знал, носили еще как минимум по одной маске — и это неимоверно усложняло трагикомический фарс.

Клара зажала обломок в своих жирных ладонях и снова закрыла глаза. У нее отвисла нижняя губа, и я увидел вставные зубы. Затем она заговорила, не двигая нижней челюстью и не шевеля языком. Возможно, это и называется чревовещанием, но могу поклясться, что раздавшийся новый голос принадлежал мужчине. Впрочем, он был настолько тихим, что даже Габриэль придвинулся поближе и наклонился вперед.

Я сделал пару бесшумных шажков от двери и обратился в слух. Но, к сожалению, сумел разобрать только отдельные слова и обрывки фраз: «...хозяин рассыпавшихся костей...», «...все еще ждут...», «...Зейда (имя? город? земля?)...», «...подарки разосланы в шесть сторон света...», «...никто не смел отказаться...», «...дверь отпирается словом любви и смерти...», «...ключи спрятаны в зените и в надире...», «...плюющий в колодец...», «...старуха в комнате с

манекенами...», «Новый Вавилон», «Черные розы Лиарета», «...девушка с веретеном...», «...поклоняющиеся западному ветру и поклоняющиеся зеленым огням...»

Не знаю, много ли пользы было от подобной белиберды, однако Габриэль, кажется, наконец добился того, чего хотел. Он откинулся на спинку кресла и удовлетворенно потер руки. Поскольку Клара продолжала *шептать*, он надавал ей пощечин, чтобы привести в чувство.

— Ну-ну, хватит! Сейчас я тебя обрадую. Я заплачу тебе больше, чем ты думаешь. За все получишь сполна, — пообещал он, забрасывая раку себе за спину и просовывая руки под ляжки. Затем он подошел к патефону, завел его и поставил иглу на пластинку.

Клара следила за ним одними глазами, превратившись в соляную глыбу, истекавшую слезами бессилия.

И тот же голос, исполненный надрывной хриплой печали, запел:

...Она говорила ему, что любовь никогда не умрет,

Но однажды он застал ее с другим...

Габриэль засмеялся. В его смехе было больше горечи и яда, чем в исповеди старой шлюхи.

Потом он потащил меня наружу. Я упирался, пытаюсь понять, что еще придумал этот мерзавец. Последнее, что я успел заметить краешком глаза, была тень Ричарда, упавшая на стену и стремительно увеличивавшаяся в размерах. Раздался громкий треск, который издает, лопаясь, туго натянутая кожа. Ясновидящая завизжала. Тень Ричарда приобрела отдаленное сходство с человеческой, но все равно это был какой-то жуткий гибрид двуногого существа и собаки. Спереди у него торчало нечто, потрясшее мое воображение. Горбатая безногая тень доросла до потолка... и навалилась на расплывчатое пятно, обозначавшее Клару, задушив ее крик.

* * *

На улице нас уже ждали. Я сразу признал карету корпуса Миротворцев. Наводить порядок прибыл сам капитан с четырьмя солдатами, что говорило об ответственности задания. Габриэлю это явно польстило — его приняли всерьез.

Солдаты были вооружены карабинами, а в кобуре, висевшей на поясе главного Миротворца, находился новодел одноименного револьвера, однако в отличие от Малютки Лоха капитан не спешил его доставать. И правильно делал. Кроме того, он был настолько любезен, что не стал

беспокоить нас во время сеанса. По его обрюзгшему лицу было видно, как ему осточертело все на свете: Боунсвилль, местные лоботрясы, приезжие аферисты, корпус с его надуманными и несбыточными идеалами и всяческая суета. Но он был из тех, кто честно и до конца выполняет свой служебный долг, каким бы нелепым этот долг ни казался.

Из дома донесся сдавленный стон Клары, сменившийся звериным рычанием. Капитан одним движением подбородка отправил внутрь солдата. Тот скрылся за дверью, остальные держали карабины наготове.

Габриэль зевнул во весь рот и засвистел уличный мотивчик, отвязывая свою кобылу. Не успел он взобраться в седло, как солдат вывалился из салона, сгибаясь пополам от хохота. Капитан нахмурился еще сильнее и сплюнул. Видать, он был знаком с образчиками черного юмора.

— Жива? — пробурчал он.

Солдат закивал, не в силах говорить. Я думал, у него случилась желудочная колика.

— Болван, — резюмировал капитан и направился к Габриэлю.

Тот уже сидел на лошади и глядел на Миротворца сверху вниз. Умел, подлец, выбирать выгодные позиции.

— Мы тут живем тихо, мирно, и нам не

нужны проблемы, — сказал капитан веско, по-видимому, не находя в чужестранце ровным счетом ничего необычного. И даже почти полная рака с костями не вызвала в нем должного уважения.

— Проблем не будет, — заверил Габриэль. — Если мне не будут мешать.

— ...Еще как жива! — вставил солдат, отдышавшись. — Хотите взглянуть, капитан? Держу пари, такого вы еще не видели!..

— Я видел всякое, молокосос, — мрачно ответил капитан, потерявший интерес не только к Габриэлю, но и к своей работе. — Кажется, я даже видел, как осел трахал твою мамашу. Заткни рот, и проваливайте в казарму!

— Хорошо сказано, капитан, — одобрил Габриэль. — Кстати, насчет ослов. Моему слуге нужен четвероногий друг. Наверное, он предпочтет ослицу. Не подскажете, где можно купить?

Капитан враждебно покосился на всадника, правильно заподозрив издевку. Но Габриэль принял самый невинный вид. Как ни странно, между этими двоими, кажется, возникло некоторое взаимопонимание. Я даже испугался, что хозяин сочтет капитана более полезным помощником, учитывая возраст, опыт, наличие какой-никакой пушки, а также влияние среди Миротворцев. Однако Габриэль заглядывал дальше, намного

дальше в будущее и намного глубже в тайны сердец, чем я мог себе представить.

Капитан снова сплюнул, и я успокоился. Судя по цвету и консистенции его слюны, неизлечимая болезнь уже перешла в последнюю стадию. Надо сказать, он неплохо держался. Его ожидал страшный конец, если чья-нибудь милосердная рука не оборвет мучения. На глазок я дал бы ему еще пару месяцев, но я не лекарь. Кроме того, стали ясны причины не слишком большой почтительности, с которой он относился к Габриэлю.

— Ослов полно, — наконец ответил он сквозь зубы. — Ослиц тоже. Это город ослов, псов и баранов. Смотря чье мясо ты предпочитаешь...

— Если вы заметили, капитан, я предпочитаю кости. Мы могли бы обсудить это в приятной обстановке. Разрешите угостить вас — ром, кола, водка? Или, может быть, молочный коктейль?

Я гадал, что случится, если он перегнет палку. Капитан, конечно, уже не жилец на свете, но именно это обстоятельство могло спровоцировать схватку. Я-то знал, чем она закончится. И тогда — прощай, Боунсвилль! Прощай, город, где я забыл самого себя, а это немало! Прощай навеки.

Но капитан оказался тупее, чем я думал. Он все принимал за чистую и настоящую монету. Или умело скрывал свои истинные эмоции.

— Я при исполнении. Я никогда и ни от кого не принимаю угощений. И мне плевать на твоё хобби.

— Тогда катись к черту, — процедил Габриэль, в очередной раз стремительно меняя маску. Увидев его новое лицо, я содрогнулся, а капитан не нашёлся, что ответить. — Когда окажешься в аду, передай, чтоб меня не ждали. *Я пока не собираюсь возвращаться* .

4

— Ну, — сказал Габриэль. — Это дело надо отпраздновать! — (Я так и не понял, о чём он — то ли о маленькой психологической победе, одержанной над капитаном, то ли об информации, с таким трудом извлечённой из Клары. Последнее означало бы, что матерый волк действительно взял след). — Есть тут приличный каба́к?

— У Эда Мухи кормят вкусно и недорого.

— Не будь мелочным жлобом, Санчо! — оборвал он меня. — Только стиль имеет значение!

Затем он с удовольствием прочёл мне лекцию о круговороте веществ в природе, всякого дерьма в организме и денег в обществе. По его словам выходило, что тот, кто останавливает оборот денег, останавливает жизнь, а тот, кто копит денежки, чуть ли не приближает всеобщий крах и

собственную смерть.

Я слушал вполуха эту самодовольную трепню и поглядывал назад через плечо — опасался, что капитан очухается и захочет показать наглецу, кто есть кто в Боунсвилле. Но тот все еще торчал столбом перед салоном Клары, когда мы сворачивали на Главную улицу.

Меня так и подмывало расспросить о том, что поведала ясновидящая, однако Габриэль интересовался в данный момент только жратвой и выпивкой.

— Да и что это за имя такое — Муха, прости, Господи?! — кипятился он, оставаясь ледяным внутри. — Особенно для кабатчика! Когда я тебя спрашиваю о чем-то, называй мне самое лучшее, дурень!

— А-а, ну тогда вам прямая дорога в «Максим». Но туда не пускают без галстуков. — Я счел возможным предупредить его об этой незначительной подробности.

— Хотел бы я видеть место, в которое меня не пустят! — сказал он чуть ли не мечтательно и с затаенной тоской.

И мне тоже вдруг захотелось поглядеть на такое место. Я сильно подозреваю, что это место — единственное в своем роде.

И называется оно — рай.

Потерянный навеки рай.